

## ОТ СТРАДАНИЯ К СЧАСТЬЮ И ОТ СЧАСТЬЯ К СТРАДАНИЮ

«Человек не рождается для счастья» (7; 155), — так писал Достоевский в подготовительных материалах к «Преступлению и наказанию». Приблизительно через 15 лет он словами Зосимы скажет: «Для счастья созданы люди» (14; 51). Каким образом произошло столь сильное изменение во взглядах писателя и как это отразилось в его понимании христианства? Как ни странно, по сути дела почти ничего не изменилось. Весь секрет состоит в том, что два, казалось бы, совсем противоположные высказывания кажутся такими лишь потому, что они взяты вне контекста, а в контексте они как раз взаимодополняют друг друга. Приводим их полностью:

«Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием.

Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (т. е. непосредственно чувствуемое телом и духом, т. е. жизненным всем процессом) приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себе» (7; 155).

Теперь сравните это высказывание со словами Зосимы: «... для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы» (14; 51).

Таким образом, на самом деле получается, что Достоевский принимал счастье как цель нашего земного существования, а страдание — как необходимый этап на пути к цели. Да, мы должны страдать, но не ради страдания. Мучение нужно человеку, но не из того нелепого и, пожалуй, даже больного чувства наслаждения, которое, к примеру, испытывает герой из «Записок из подполья». Страдание хорошо до тех лишь пор, пока оно помогает личности искоренить из души зло. Иначе говоря, в страдании есть мысль, но в счастье — смысл. В этом плане, Порфирий Петрович занимает позицию Достоевского, когда, при встрече с Раскольниковым и, подозревая его в убийстве, советует ему пострадать и

отдаться жизни, так как она сама все поправит, она «прямо на берег вынесет и на ноги поставит» (6; 351). Кстати, и сам Раскольников не чужд мысли о том, что страдать необходимо: на вопрос Сони «что делать», он отвечает: «Сломать, что надо (...) и страдание взять на себя» (6; 253). Но в том-то и дело, что для Раскольникова взять на себя страдание означает отнюдь не очистить себя на пути к возрождению и к личному счастью, как того бы хотели и Порфирий Петрович, и Соня Мармеладова. Вспомним, что Соня указывает Раскольникову тот же путь, о котором говорил Порфирий Петрович: «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо» (6; 323). Иными словами, Раскольникову предлагают искупительное страдание, но для него это лишено смысла. Он же, напротив, понимает лишь то страдание, которое возникает в результате необходимого разрушительного действия («сломать, что надо») во имя власти. «Свободу и власть, — открывает он Соне свое кредо, — а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!» (6; 253). Вот оно что! Оказывается то счастье, ради которого Раскольников говорил, что позволено «переступить» нравственный закон, то счастье, за которое следует «сломать, что надо», ему не нужно. Во имя счастья человечества он требует себе власти «над всею дрожащею тварью и над всем муравейником». В этом отношении Великий Инквизитор и он очень сходны. Оба хотят создать «для счастья» людей муравейник и оба принимают на себя страдание, возникающее, прежде всего, от сознания того, что они «переступили» в погоне за властью, и жизнь одинаково их карает и за то, что они посмели распоряжаться судьбами других людей, которые — в руке Божией, и за то, что с презрением посмели разделить человечество на слабых и сильных, гордо объявляя себя в числе не просто сильных, но и «умных». Если этого не достаточно, то можно добавить, что Великий Инквизитор, как и Раскольников, тоже дает «разрешение крови по совести» (6; 203). Однако сама их совесть, оказывается, не дает такого разрешения. Я, разумеется, далек от намерения поставить Инквизитора и Раскольникова в один ряд, но, как мне кажется, сравнение само собой напрашивается. Главное их различие заключается в том, что Великий Инквизитор «счастье» людей видит в успокоении их совести и в снятии с них ответственности путем разрешения «свыше» на грех; Раскольников же это разрешение дает не слабым, а только сильным, гениальным людям, для того чтобы они смогли победить все препятствия на пути к созданию счастливого общества, составленного в основном из тех людей, которых он называет «дрожащими тварями» и над которыми будут господствовать «сильные». Слабые не имеют права переступить, с них не снимает-

ся ответственность, но с сильными другое дело и, хотя они отвечают перед законом общества, но все же не несут моральной ответственности и имеют право пойти даже на убийство, не задавая при этом себе никаких нравственных вопросов, а потому и не испытывая никаких угрызений совести. Однако, теория Раскольникова опровергается им самим на каждом шагу, каждый раз, когда он **испытывает отвращение** против тех, кто «переступил»; к тому же, вспомним, что на вопрос Разумихина о том, должны ли не страдать сильные люди, однажды пролив кровь, Раскольников отвечает как бы не в духе своей теории: «Пусть страдает, если жаль жертву... Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть» (6; 203). Не в духе это его теории, потому что если «по совести» разрешается пролить кровь, то не к чему страдать<sup>1</sup>. Спокойная совесть не причиняет страданий, однако, для сознающего и с глубоким сердцем человека страдание и боль **обязательны**, так как сознание и сердце **обязательно** пробуждают совесть, которая и **не разрешает** пролить кровь, а потому проявляет свое несогласие в форме страдания. «Истинно великие люди» — те, кто владеет глубокой совестью и испытывает большую тоску по идеалу. Я думаю, Достоевский хотел выразить от себя именно такую точку зрения и вложил ее в подсознание Раскольникова. Без внутренних нравственных вопросов нет страдания, но истинно великие люди не могут обойтись без них и потому страдание неизбежно. Нет санкции совести, наоборот, она с еще большей силой бунтует против злодеяний, тем более, что такие люди больше других испытывают на себе потребность в идеале. Подтверждение вышесказанного мы находим у Достоевского в следующей выдержке из «Записной книжки» за 1864 год: «Человек стремится на земле к идеалу, противуположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовь в жертву своего я людям (...), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек непрерывно должен чувствовать страдание, которое уравнивается райским насла-

---

<sup>1</sup> У Раскольникова образ Наполеона соответствует как раз такому типу «великих людей», которые ни перед чем не останавливаются и не испытывают при этом никакого страдания из-за угрызений совести. Образ Наполеона нарушает предположение Раскольникова о «великой грусти» великих людей. В противоположном случае, надо предполагать, что, еще не совсем осознанно, Раскольников перестал считать Наполеона «великим человеком». Я думаю, что второй вариант ближе Достоевскому, для которого «истинно великие люди» руководятся не эгоистическими целями, но христианским идеалом жертвы, отдачи своего «я» людям.

ждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна» (20; 175).

Судя по вышеприведенной цитате, раз Достоевский говорит о законе стремления к идеалу, нельзя предполагать, будто он является «противуположным» натуре человека. Я здесь не хочу противоречить Достоевскому; он сам себе противоречит. Дело в том, что если стремление к идеалу считать законом, то оно прежде всего должно носить внутренний характер, т. е. исходить из самой природы человека. В противном случае, если бы закон не соответствовал природе человека — нарушение его не вызывало бы никакого мучительного изменения в душевном состоянии переступившего закон. В общем-то, страдание всегда имеет личный, внутренний характер, оно не появляется до тех пор, пока наша природа не оказывается под воздействием каких-либо сил, противоречащих ей. Если наша природа не тронута, то нет и страдания, а мир, радость и равновесие. Стремление к идеалу есть, одновременно, и стремление к устранению страдания, к восстановлению внутреннего закона любви и самоотдачи ради людей, и это настолько соответствует природе человека, что, при исполнении закона, вполне естественно, что он не может испытывать ничего, кроме, как говорил Достоевский, «райского наслаждения». К тому же, писатель, когда дело касается до личных поступков человека, всегда отводит страданию роль помощника совести. У Достоевского совесть ведет людей к идеалу и, чтобы исполнить свою задачу, она пользуется либо страданием (когда человек сбивается с пути и, поступая против своей природы, отходит от идеала), либо чувством радости (когда человек следует за идеалом естественно и плавно). Так, сердце Раскольникова наполняется духовным веселием в те моменты, когда он искренне отдает свое «я» людям (т. е. исполняет закон стремления к идеалу), но мучится, когда он преследует эгоистическую цель самоутверждения и самовозвышения над людьми. Именно так происходит чуть ли не со всеми персонажами произведений Достоевского, за исключением некоторых высших «бесов», таких, как, например, Лужин («Преступление и наказание») и Петруша Верховенский («Бесы»). Однако эти исключения могут быть объяснены тем, что Достоевский либо не считал нужным описывать душевные переживания этих героев и потому не замечается в них никаких угрызений совести, либо на самом деле они не мучаются, потому что степень их одержимости — у Достоевского одержим тот, кто живет во зле, — настолько велика, что живой образ Христа, присущий каждому человеку, погребен под развалинами мертвых богов ложной власти и разрушения. К тому же то, что они заглушили голос совести, еще не значит, что им легче живется, хотя и может быть здесь

иллюзия покоя. В конечном итоге, все-таки жизнь их карает и иллюзия рассеивается. Достоевский считал, что такие люди нисходят до степени животных: «ничего нет несчастнее такого преступника, — пишет он, — который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее» (21; 18).

Пока человек на земле не достиг совершенства, законом нашей планеты будет обретение счастья путем страдания (см. 7; 154), но для Достоевского путь страдания есть одновременно и путь радости, благодаря тому, что через него человек осознает, что он непрерывно приближается к счастью и к идеалу.

Однако, не следует думать, что для писателя страдание является чем-то естественным в нашей жизни. Далеко не так. Оно может быть нужно, но не случайно Достоевский называет его «ненормальностью». Так, в материалах к «Бесам» Голубов, который должен был исповедывать идею православия и, по-видимому, влиять на Ставрогина в вопросе о вере, утверждает, что мир был сотворен совершенным и потому «все в мире есть наслаждение — если нормально и законно, не иначе как под этим условием. Бог сотворил мир и закон и совершил еще чудо — указал нам закон Христом, на примере, в живье и в формуле. Стало быть, несчастья — единственно от ненормальности, от несоблюдения закона» (11; 121—122). Задача человека и заключается, по мысли Достоевского, в восстановлении «нормальности» и совершенства мира, тем более, что именно он нарушил закон любви и самопожертвования, указанный Христом. Восстановив «нормальность» мира, человек снова увидит его совершенство. Кстати говоря, если вспомнить еще раз о словах Зосимы, утверждающего, что «все совершенно, все, кроме человека, безгрешно» (14; 267—268), то получится, что для того, чтобы восстановить чистоту мира, достаточно устранить греховность людей, а это достигается исключительно через Христа, следуя Его примеру. Не надо забывать, что для Достоевского закон любви и самоотдачи, указанный нам Христом, является еще и силой, способной спасти все человечество. Когда мы перестаем любить и отдавать себя людям, мы ощущаем великое страдание не только потому, что перестали соблюдать закон, но и потому, что вместе с этим открыли обособлению храмину нашей души. Да, мир был сотворен совершенным; закон любви и самоотдачи был в нем «нормальностью» и благодаря этому закону мы были защищены, хранили связи с нашим братом — человеком и одновременно поддерживали нашу целостность. Переступив закон, мы потеряли все это и остались одни. По-видимому, Достоевский считал, что миссия Христа заключа-

лась прежде всего в указании этого закона. Отец послал людям Сына Своего для того, чтобы они снова узрели свет и вернулись в дом, который покинули. Отец послал Сына и сделал Его братом людей, чтобы они поняли, что идеал (закон), указанный Христом, является и их идеалом, к которому можно и должно стремиться. Отец послал Сына и сделал Его человеком, чтобы люди поняли, что и они могут достичь идеала. Бог снизошел до человека для того, чтобы люди, в конечном своем развитии стали как боги. Бог вложил в людей совесть, чтобы они ощущали еще сильнее свою связь с тем «нормальным» состоянием совершенного мира и послал потом Своего Сына, чтобы они имели перед собой осязаемый образ этого «нормального» (идеального) мира и не потерялись в лабиринтах, и не забывали, что когда-то и они были частью того совершенства, которое сами нарушили.

Дойдя до этого места, я подхожу теперь к одному очень деликатному вопросу, без ответа на который не может быть понята до конца главная идея Достоевского о значении страдания в истории человечества и о необходимости появления идеала во плоти (Христа). Признаюсь, часто у меня возникает впечатление, что Достоевский очень многое оставляет для себя самого в области не совсем оформленных идей и понятий, как будто он прозревает какие-то истины чисто интуитивно, мучится ими, но не может до конца умом провести их в жизнь. Ум не успевает за интуицией. Не зря Достоевский говорил, что в своем писании он часто не высказывал даже десятой доли того, чего бы хотел. Я об этом говорю потому, что то, о чем сейчас пишу, у Достоевского нигде в чистом виде не встречается, но разные его высказывания, разбросанные по его произведениям, если их связать и оформить в виде одной главной идеи, ведут нас к выводу, что для Достоевского не только страдание с его искупительной силой было нужно человеку, но и сам акт грехопадения был необходим.

Грехопадение, по Достоевскому, имеет двойственное значение: с одной стороны оно является актом отдаления от Бога, а с другой — полагает начало пути к более высокому уровню связи с Ним. Иными словами, человечество удаляется от Бога через акт грехопадения не для того, чтобы порвать с Ним связи, а для того, чтобы еще глубже познать Его. Именно в этой идее и заложен ключ к мировосприятию писателя, к его пониманию замысла Бога о человеке.

В записной тетради 1864—65 гг. в заметке «Социализм и христианство» Достоевский делит человеческую историю на три стадии. На первой стадии, как утверждает писатель, человек живет в массе, причем живет больше для других, нежели для себя, и имеет только непосредственные ощущения; потом возникает цивили-

лизация со всеми своими обособлениями, с развитием личностного начала и, под конец, на третьей стадии, человек еще раз возвращается в массу. Можно сказать, что Достоевский видел на первой стадии образ первоначального рая, когда все еще было «нормальным», совершенным и закон любви и самоотдачи исполнял каждый, без каких-либо вопросов. Люди имели гармоничную связь с миром и с Богом и преклонялись перед Ним, но их знание Бога было более интуитивным, чем осознанным. В этом отношении они мало в чем отличались от животных. Они были счастливы, но их счастье было неполноценно, ибо они жили в раю, не достигнутом ими самими, а подаренном им Богом. Главное тут не то, что они понимали это. Они, наверно, об этом и не думали. Главное другое: если замысел Бога о человеке заключался лишь в создании рая для людей, достигших чуть-чуть более высокого уровня, чем животные, то все было бы в порядке, но Бог для человечества имел другие планы. Он, в силу Своей любви, возжелал сотворить людей по Образу и Подобию Своему, но для этого нужно было не дать им все сразу, а заложить внутри их в форме **возможности**. И не то, что человек не был подобен Богу, а то, что люди должны были сами обнаружить это. Извлекать из себя все дары, «завоевать» их, **осознать** их и Бога в себе. Это в чем-то мне напоминает идею Достоевского о дворянстве, высказанную словами Версилова в романе «Подросток», где он предлагает, чтобы дворянином стал каждый по заслугам, а не просто по наследству: «Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей» (13; 178). Итак, стать подобным Богу человек должен через собственный подвиг, ибо, как сказал Достоевский, «гносно жить на даровщинку» и потому счастье не в счастье, а лишь в его достижении» (22; 34).

Итак, Бог решил сделать из людей богов, но они сами должны прийти к этому. Нужно сказать, что для Достоевского первая стадия развития человечества все же несколько отличается от библейского рая, в котором первые праотцы жили не трудясь и получали все даром, без усилий. По-видимому, Достоевский думал, что Эдем на самом деле существовал и там люди, наверно, получали без тяжелого труда плоды земли. По Библии, согрешив, люди были изгнаны из рая и начали добывать себе пищу своим потом, своим усилием, однако писатель, видимо, не считает, что в действительности именно так произошло изгнание из рая. Признаюсь, в виду того, что у него не встречается прямых высказываний по этому поводу, иногда очень трудно понимать, до какой степени Достоевский принимал буквально историю о грехопадении, а до какой — только иносказательно. То, что кажется все-

таки фактом, что расширение границ рая, так как, если учитывать, что для писателя весь мир — рай, даже в своем нынешнем состоянии, то, выходит, «изгнание из рая» произошло в ином виде, нежели физическом, или же, если люди действительно откуда-то ушли, они, однако, все же не покинули рая, а только переместились из одной его части в другую. Кроме того, Достоевский не видел в необходимости труда для добывания пищи следствия грехопадения. Нет, он не согласен с таким поворотом дела, тем более, что он уверял, что «нет счастья в бездействии» и что «погаснет мысль не трудящихся» (22; 34). К тому же, люди в первоначальном рае **работали** не для себя же, а вследствие своей любви к ближнему свосму. И это очень важно, ибо работа была выражением закона любви и самоотдачи, благодаря чему рай был возможен. И настолько работа была необходима, что даже писатель был уверен, что без нее нет и любви, в силу того, что «нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего» (22; 34).

Люди жили в таком состоянии на первой стадии своего развития и поддерживали «нормальность» миропорядка, и сохраняли закон любви и самоотдачи, но не могло это продолжаться вечно, если им предназначено было подняться от уровня почти животного до уровня божественного. Тогда Всемилосердный Бог поставил человека перед выбором: остаться в той же точке колеса, или крутить его и двигаться вперед и **осознать** добро, но тогда и зло, ибо прежде, чем куколка превратится в бабочку и научится летать, она должна сначала ползать некоторое время и набирать опыт, с помощью которого она переродит себя в новом и светлом теле. Если только это так, то для Достоевского грехопадение **не** является «падением» в полном смысле этого слова, но шагом вперед. Можно даже утверждать, что и сатана с этой точки зрения служит, в каком-то смысле, исполнению Божьей воли. Вспомните образ черта в романе «Братья Карамазовы» и вы увидите не страшного сатану (он сам себя называет сатаной), а жалкого чертика, «вынужденного» творить зло по заказу. Конечно, Достоевский не мог представить сатану исключительно в такой роли — роли, совсем не свойственной гордому и умному духу саморазрушения и потому в поэме Ивана Карамазова о «Великом Инквизиторе» он кажется действительно страшным и совсем самостоятельным. Я думаю, этот вопрос о месте сатаны в творении Бога у Достоевского не совсем разрешен, но предполагаю, что все-таки писатель принимал его появление как **необходимость**. Во всяком случае, искушение дьявола, из-за которого совершилось грехопадение, можно рассматривать не как недосмотр Бога, а как проявление Его любви и высшей мудрости, так как с грехопадением



начался новый этап самосознания человека. Кажется, Достоевский не верил в грозного Бога Ветхого Завета, запрещающего людям знать больше, чем они знали, и карающего человека за его грехи. По-видимому, говоря о грехопадении, Достоевский делает акцент отнюдь не на акте вкушения плода с дерева познания добра и зла. Как раз в этом для писателя не заключается грехопадение, ибо хотеть знать больше о себе, о мире, о Боге, не есть еще грех, а вполне естественная необходимость, присущая человеку и вложенная в него Богом. Если проецировать это событие на историю человечества, то оно может быть отнесено к той стадии развития, которую Достоевский называл «цивилизацией» и во время которой произошло истинное грехопадение. Косвенным образом оно связано с выбором, с вкушением «запретного» плода, постольку, поскольку для человека несовершенного, проходящего земной путь учеником, возникает возможность ошибки, т. е. впадения в грех, что на самом деле и случилось. Впавши в грех, человек отошел от Бога и покинул рай, в том смысле, что он перестал быть чистым. Пришла цивилизация со своей наукой и отвергла Бога и нарушила закон любви и самоотдачи. Получилась странная вещь: люди, с своей жаждой «знать», перестали осознавать Бога, пытаясь обосновать свою веру на науке. Конечно, Бог не мог не предвидеть, что так обернется дело, но Он, из любви к человеку, пошел на это, зная, что наука в зародыше не есть еще истинная наука, зная, что человек, со своими навыками, но еще мелкими знаниями провозгласит, что нет Бога и потому почувствует, что он сам и его наука стоят превыше всего. Человек делается гордым, но и одиноким. Бог знал все это, и однако Он способствовал развитию науки потому, что также знал, что это необходимый этап роста, чтобы человек своей интуицией, умом и трудом наконец сам достиг более совершенного понимания мира и Творца. И это непременно произойдет, когда наука человеческая достигнет зрелости, когда она, кстати, не будет в противоречии с чувством красоты, но только той божественной красотой, в которой так нуждается душа человеческая. Так по крайней мере думал Достоевский, который считал, с одной стороны, что нельзя отвергать вековые истины на основе всего лишь начинающей науки, неспособной пока доказывать что-либо, особенно в области веры, но с другой стороны понимал, что все-таки науки «ужасно» нужны. К сожалению, пока цивилизация со своей наукой не дойдет до желанной зрелости, она больше будет разделять, чем объединять, она своим мелким «знанием» оттолкнула от себя рай, сделала мир пустым, отинула Бога и превратила людей в одиноких сирот. Цивилизация — это период великого обособления, где каждый работает для себя и о любви к ближнему мало

кто по настоящему заботится. Однако, цивилизация не искоренила память людей о великом прошлом, когда они жили в раю и не было никакого зла. Память о рае заставила людей тосковать о прошлом и страдать из-за того, что они сами предали свой идеал. Тогда они начали искать утраченный рай в каких-то отдаленных царствах, не подозревая, что на самом деле никогда его и не покидали и что рай вернется к ним, когда они осознают истину. Тогда колесо завершит свой круг и люди вернуться к Богу. И они поймут, что Бог никогда не изгонял их, что рай есть всюду. И закон любви и самопожертвования будет восстановлен. Однако люди настолько отошли от идеала и в своем выборе безбожного «знания» ушли так далеко, что все запуталось и они еле-еле различают дорогу, ибо своими глазами почти ничего не видят и идут по миру, «отуманенные грешными мыслями». Для того, чтобы указать путь и восстановить закон любви, явился Иисус Христос. Он научил куколку стать бабочкой. Он показал, что когда люди будут следовать Его примеру, тогда наступит третья стадия развития человечества. Обособление прекратится и человек снова станет жить для людей, а не для себя. Христос был послан Отцом не просто, чтобы спасти людей от гибели, а чтобы помогать им стать богами. В этом и смысл истории. Человек родился для того, чтобы стать богом и Христос появился для того, чтобы богом стал человек. Однако, путь к божеству не легкий и наполнен страданием. Не может быть иначе, ибо, чтобы достигнуть цели, мы должны стать чистыми, освободиться от греха, которым, как считают и Соня Мармеладова и Зосима, мы осквернили землю: «след свой гнойный, — говорит Зосима, — оставляешь после себя» (14; 289).

Путь страдания тяжел и не должен нас смущать. Он необходим с того момента, как мы впали в грех. Это искупительный путь и, несмотря на то, что мы часто отчаиваемся, временами проклинаем нашу участь и даже отворачиваемся от Бога, это путь великой радости, ибо через него все больше и больше мы очищаем себя и осознаем приближающееся счастье. Опять-таки, стоит напомнить, что для Достоевского нет счастья в бездействии, а лишь в его достижении. Человек родился для приобретения счастья (осознания Бога и достижения бессмертия) страданием. Чтобы ценить такое добро, лучше не получить его даром. И когда страдание будет нас слишком сильно гнест и когда почувствуем, что больше нельзя и станем бунтовать против Бога, потому что не понимаем, «зачем так устроено», то пусть перед нами возникнет образ распятия. Для Достоевского это сильнейший аргумент, так как через такую жертву Бог сам пошел на страдание. Послав Своего Сына на Голгофу, Бог как бы говорил людям, чтобы они

терпели, что они не оставлены. Они согрешили и страдают, вот Сын Божий, Христос, чист, но и Он страдает. Он принимает это страдание потому, что **сострадает** и готов взять грех человечества на себя, чтобы спасти людей<sup>2</sup>. Не случайно Достоевский утверждал что «сострадание — все христианство» (9; 270). В этом случае, стать как боги люди смогут только если сами будут сострадать своим братьям так, как Бог сострадал роду человеческому. Это, конечно, только один из первых шагов, но чуть ли не самый важный, ибо из любви-сострадания рождаются великие подвиги веры и самоотречения. «Сострадание, — считает князь Мышкин, — есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» (8; 192).

Страдание, вызванное раскаянием за собственные грехи, — дело хорошее и нужное. Оно очищает и исцеляет нас, готовит к возрождению, ставит нас на ноги. Сострадание же, вызванное чужими переживаниями, падениями и пр., очищает и исцеляет тех людей, на которых оно направлено. В этом Достоевский был настолько уверен, что его любимые герои-праведники постоянно, силой своей любви-сострадания, изменяли людей к лучшему. Поэтому, можно сказать, что для писателя страдание является первым этапом к восстановлению личности, во всей ее духовной высоте, а сострадание — последним, окончательным, если только это сострадание превращено не в минутный порыв души, а в дело жизни. Например, сострадание Раскольникову семье Мармеладовых и бескорыстная помощь им, или поступок Ивана Карамазова, после свидания со Смердяковым спасшего пьяницу от замерзания, конечно, замечательны, но это всего лишь зачаток того сострадания, которое способно двигать горы. Кроме того, учитывая, что их душа сияла радостью и чувством удовлетворения оттого, что она знала, что так именно надо всегда поступать, учитывая также, что у Достоевского душа каждого из его героев одинаково радуется собственным проявлениям деятельной любви-сострадания, можно предполагать, что для писателя душа является естественно христианской. В этом заключается ее «нормальность». Она христианка потому, что закон любви, сострадания и само-

---

<sup>2</sup> Конечно, образ распятия не исчерпывает свой смысл исключительно в этом примере безграничного, нечеловеческого сострадания, ведь смотря на распятие, человек приходит не только к мысли о великой жертве, принятой с любовью Христом, но и, также неотделимо от жертвы, возникает подвиг воскресения, через который Христос окончательно проявил свое Божество и доказал, что достижимо бессмертие. Своей жертвой Он и искупил грех мира, и оставил нам обещание о нашем бессмертии. Для Достоевского это очень важно, ибо в крестном подвиге он видел не акт бессильного сострадания, а чудо, которое открыло людям смысл жизни: жить для бессмертия.

отдачи не есть нечто вынуждающее ее подчиняться чему-то чужому; наоборот, этот закон составляет самую ее сущность. Разумеется, я не утверждаю, что такого закона нет для других исповеданий; я только констатирую факт, что такой закон для Достоевского по определению является христианским и потому, раз душа принимает его как нечто присущее ей самой, то душа, опять-таки, по природе своей — христианка.

Сострадание без действия не есть еще сила, а Достоевский как раз видел в сострадании самое высокое проявление деятельной любви, которая способна изменить мир, превратить его в рай. Дело в том, что для него истинно сострадать означало одновременно и отдавать свое «я» во имя страждущих, во имя их восстановления. Это всегда надо иметь в виду при рассмотрении художественных образов писателя, а то мы можем прийти к крайностям и, например, признать в Великом Инквизиторе человеколюбца, отошедшего от Бога «во имя счастья» слабым людям, не виноватым в этой своей слабости, и принимающего на себя страдание, чтобы другим было легче жить, хотя бы и в муравейнике. Нет, решительно, Великий Инквизитор не является никаким страдальцем за счастье людей. Ему не приходит в голову «восстановить погибшего человека», он хочет лишь успокоить совесть людей, освободить их от тяжести самой свободы, усмирить «жалких бунтовщиков» и заставить их работать для него. Великий Инквизитор презирает человека, но нет и никогда не было в презрении любви. А это очень важно, ибо для Достоевского нет истинного, христианского сострадания без любви. Инквизитор не сострадает людям, а хочет, как и Раскольников, власти «над всею дрожащею тварью и над всем муравейником» (6; 253). Инквизитор не сострадает, а презирает людей. Он хочет превратить их в обезволенных рабов, ему по душе идеал «счастливого» муравейника, осуществившего насильственное успокоение совести. Великий Инквизитор не принимает на себя страдание людей, чтобы сделать их счастливыми, но страдает от того, что знает, до чего он дошел в своем обмане. Он страдает за себя, а не за людей, так как понимает, что, отойдя от Бога, он поработил человека и создал антиидеал, а с таким «подвигом» даже и сам Инквизитор не может смириться.

Достоевский понимает, что не в успокоении совести людей заключается сострадание. В Евангелии от Матфея Христос говорит ученикам Своим: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч»<sup>3</sup>. Сострадание как раз и подразумевает принесение меча. Меч разрушает ложное

---

<sup>3</sup> См. Евангелие от Матфея. 10: 34.

спокойствие, освобождает совесть и пробуждает жажду идеала. Христос пришел с мечом потому, что сострадал человеку и не хотел, чтобы люди остались спокойными в своем отпавшем от идеала состоянии. Меч — великое лекарство для совести, против успокоения пришел с мечом Христос и помог человеку встать на ноги и сильнее тосковать по идеалу, искать его. Именно такое сострадание более понятно для Достоевского. Не случайно, когда его положительные герои страдают кому-либо, они берут меч и способствуют угрызениям совести, и вызывают грешников на страдание. Так, Соня Мармеладова советует Раскольникову, а Зосима — Таинственному Посетителю взять на себя то страдание, причиной которого явились они сами, и публично покаяться перед народом за преступления, ими совершенные, Алеша Карамазов признается брату Ивану, — вместо того, чтобы успокоить его — что и он думал, что Иван желал отцу смерти. Алеша не обвиняет, но не останавливает работу совести Ивана, ибо для Достоевского важно, чтобы Иван осознал свое участие в преступлении и, следовательно, страдал за нарушение закона любви, нарушение, которому сам он способствовал. Нужно подчеркнуть то обстоятельство, что и для Раскольникова, и для Таинственного Посетителя, и для Ивана Карамазова страдание не исходит исключительно из угрызений совести перед злодеянием, но и из жажды любви и счастья, которые их сердца могут найти только в идеале. Если не так, то тогда как объяснить, что первоначально Достоевский хотел, чтобы Раскольников признался в своем преступлении сразу же после того, как увидел картину золотого века, мечтать о котором, как он чувствовал, он не имел права? То же самое происходит в главе «У Тихона» и со Ставрогиным: ему снится золотой век, но он сознает себя не в праве мечтать о нем после всего зла, которое сотворил. Ставрогин страдает, Ставрогин ищет страдания, ибо хочет «простить сам себе» (11; 27) так, как хотел бы и Раскольников.

Таким образом, у Достоевского сострадать значит и жалеть человека, и помогать ему осознать идеал и то место, в котором он находится по отношению к идеалу, и открыть ему глаза, чтобы он страданием очищал свой путь. Сострадать не значит дать покой, но принести меч, чтобы отсечь все чуждое человеку и обрести то счастье, которое ждет нас не только в конце пути, но и на каждом углу, стоит лишь осознать истину о божественной святости мира. Сострадающий человек призван разрушить те препятствия, которые мешают людям развивать свою личность по образу и подобию Божию.

Достоевский советует не бояться страдания. «Страдание — да ведь это единственная причина сознания» (5; 119), — говорит под-

польный человек, а сознание, несмотря на то, что парадоксалист его называет болезнью, для писателя есть необходимый, первый шаг для обнаружения в натуре человека ненормальности и восстановления личности. Иными словами, Достоевский не считает, что сознание — болезнь, наоборот, отсутствие его порождает болезнь, а лекарство дается сознанием. Поэтому страдание так необходимо в жизни: то, что человек «под-сознает», через страдание часто становится явным, сознаваемым, тем более, что сознание, источником которого является страдание, имеет прямое отношение к проявлению совести. Совесть-страдание-сознание — вот неразделимая триада, через которую Бог ведет человека к идеалу. Через совесть совершается не только личный, но и высший суд, цель которого не карать, а спасти грешника. «Единый суд — моя совесть, — пишет Достоевский, — то есть судящий во мне Бог» (24; 109). И суд этот пробуждает сознание того, что я, грешник, преступил против Бога, и потому всегда связан со страданием, так как человеку присуща жажда идеала и, отходя от него, душа не может не тосковать по нему.

Однако не следует думать, будто у Достоевского только страдание является источником сознания. В своих записках к «Дневнику писателя» за январь 1877 г. Достоевский сделал следующую отметку: «Сознание и любовь, что, может быть, и одно и то же, потому что ничего вы не сознаете без любви, а с любовью сознаете многое» (25; 228).

Итак, сознание<sup>4</sup> достигается через любовь. Но ведь только что мы убедились в том, что для Достоевского высшие истины открываются через страдание, причем через страдание, в котором не обязательно присутствует любовь. Человек из подполья, например, говоря о страдании как о единственном источнике сознания, не подразумевает никакой любви, он сам не испытывает любви, когда через страдание «сознает». Не испытывают любви ни Рас-

---

<sup>4</sup> Здесь необходимо подчеркивать, что у Достоевского, когда он говорит о **сознании**, обычно подразумевается сознание высшей истины, идеала добра и красоты, существования Бога и бессмертия души и пр. и пр. в том же роде. Что касается его героев «безбожников», то с ними дело обстоит несколько иначе: человек из подполья, самоубийца из «Приговора» и Ипполит, например, страдают при «сознании» того, что законы природы действуют самым наглым и холодным образом и поработают и, наконец, поглощают человека. Но это, с точки зрения Достоевского, еще не есть сознание, ибо для них еще не наступил момент просветления, указывающий им, что есть Бог и что Он проявляется в каждом Своем творении. Впрочем, подпольный человек страдает не только от своего лжесознания, но и от того, что в нем пробуждается совесть и, через нее, Бог осуществляет Свой суд и вызывает чувство неудовлетворенности и тоску по более высокому идеалу, который уже где-то существует, как это предчувствует душа подпольного человека.

кольников, ни Ставрогин, ни Иван Карамазов, когда, после мучительного крестного пути осознают несостоятельность своих воззрений и деяний. Тем не менее Достоевский не слишком себе противоречит, провозглашая любовь как главное условие сознания. Во-первых, страдание вызывает в человеке сознание своей неправды и открывает двери к высшим истинам, однако пройти через эти двери люди смогут только с помощью любви. Во-вторых, у Достоевского страдание возникает благодаря пробуждению совести, а совесть-то, как недавно мы видели, является для писателя «судящим во мне Богом». Разумеется, суд Бога есть **всегда акт любви во имя перерождения человека в свете**. В-третьих, когда дело касается веры в Бога и в бессмертие души — а это у Достоевского высшая форма сознания, — писатель признает словами Зосимы, что такая вера достигается «опытом деятельной любви», т. е. дойдя «до полного самоотвержения в любви к ближнему» (14; 52). Не случайно самые сознающие герои писателя те, которые проповедают своими действиями любовь: князь Мышкин, Макар Долгорукий, Алеша Карамазов, Зосима, Соня Мармеладова и, даже Марья Тимофеевна Лебядкина, «Хромоножка».

Любовь у Достоевского — вернейший способ осознать истинную суть мира и человека. Для тех, кто смотрит с любовью на Божие творение, все свято и истинно. При таком сознании они счастливы, и не может быть иначе. Все добрые люди, все святые для писателя всегда были и будут счастливыми, ибо в них много любви. «Несчастливы только злые — пишет Достоевский П. С. Анненковой в 1855 г. — Мне кажется, что счастье в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца» (28; 196). Достоевский в дальнейшем не изменил своего взгляда на счастье и это необходимо учесть, так как связь между любовью и счастьем очевидна, исходя из предыдущей питаты; кроме того, писатель был вполне убежден в том, что светлые люди даже в страдании находят счастье<sup>5</sup>. Конечно, речь не идет ни о каком нелепом мазохизме, а о том, что для них, даже в великом тумане, всегда светит истина, поддерживающая их в мире, с помощью которой они приведут других к осознанию святости творения и, через это, к счастью и, в конце концов к самому идеалу. О, если б человек только знал, что такое чудо окружает его, что он никогда не покидал рая, и что все носит на себе печать Божию! Живя в таком мире, человек был бы естественно счастлив. Да, именно так, и потому не надо

---

<sup>5</sup> Вспомним в этой связи, что Зосима, посылая Алешу в мир, говорит ему: «Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь — что важнее всего» (14; 259).

удивляться словам Кириллова, выражающим взгляд самого Достоевского: «Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив» (10; 188). Таким образом, можно сказать, что человек не только родился для счастья, как считал Зосима, но и что человек родился в счастье. К сожалению, со времени грехопадения мы идем по миру, отуманенные грешными мыслями и потому несчастны. Если бы мы осознали истину...

Осознание истины озаряет человека и делает его счастливым, даже если ему придется страдать. А страдать-то обязательно придется.

Мир есть рай и все свято, но ... В том-то и дело, что «но»: осознавая истину святости мира, человек не может не осознавать и зло, воцарившееся в душе людей и отталкивающее их от Бога, от идеала. Зло не есть истина и потому имеет лишь произвольный характер, потому его можно искоренить в себе; достаточно рассеять туман грешных мыслей светом божественной правды о мире. Человек, осознавший эту правду, и счастлив, и несчастен, ибо не может не страдать, пока хоть кто-то останется погруженным во зло и в муки из-за незнания правды о Боге и о мире Его. Счастливый, сознающий человек есть одновременно и человек сострадающий. Для Достоевского иначе не бывает, не зря он утверждает, что «всякое великое счастье носит в себе и некоторое страдание, ибо возбуждает в нас высшее сознание. Горе реже возбуждает в нас в такой степени ясность сознания, как великое счастье. Великое, то есть высшее счастье обязывает душу» (26; 110). Поэтому немудрено, что истинно счастливые люди те, которые приняли в своем сердце христианский идеал самоотдачи и любви к ближнему и, следовательно, не могут остаться равнодушными при виде страдания и падения людей. Более того, чтобы иметь право на свое счастье, они чувствуют себя обязанными принести людям свет Христов и этим же способствовать счастью и развитию личности каждого брата своего. Иначе говоря, если рай есть в моей душе, то пусть будет рай и в душе моего ближнего; если же он страдает, то пусть и я пострадаю вместе с ним, ведь может быть, благодаря моему состраданию в нем воссияет Божия истина, через которую он спасется и приобретет высшее сознание и, вместе с тем, высшее счастье. Можно сказать, что все положительно-прекрасные герои Достоевского так и делают. Они и сострадают, и разделяют свое счастье с людьми, они готовы, как в свое время Христос, — единственный безгрешный, — дал тому пример, взять на себя грехи людей и пострадать за них, за их спасение. Они чистым сердцем своим готовы быть братьями людям и в страдании, и в счастье. Для них крест страдания за людей есть и источник радости, ибо страдать за брата значит



искупить его грехи и дать ему возможность стать, со временем, и чистым, и счастливым. Пусть со страданием когда-нибудь будет покончено! Пусть и сейчас по крайней мере невинные существа больше не страдают! А пока они страдают, пусть и я вместе с ними. Я хочу страдать за дите, за их неоправданные слезы, чтобы их никто больше не мучил; я хочу мучиться, ибо хочу быть счастливым, и чтобы все были счастливы. Пусть я буду остерегать брата от падения, если не сумею, то буду у него прощения просить, ибо остеречь не сумел, потому что, быть может, я хуже его и не был готов показать ему свет Божий. Да, в его падении я виноват вместе с ним и, быть может, больше его. О, конечно, это не только признание всеобщей и личной виновности, но и высшее сознание моей неотделимости от каждого человека, признание того, что я принимаю участие в личной судьбе моего ближнего, любимого мною, потому что в каждом, как и во мне, живет Бог, Который связывает всех нас, как Отец Своих детей.